

## Н. ЧЕРТОВА

### ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА<sup>1</sup>

Ранней осенью тысяча девятьсот третьего года в мрачно-тое кирпичное здание Симбирской чувашской школы вступил тринадцатилетний худенький черноглазый мальчик в сатиновой рубашке и в аккуратно начищенных сапогах. Этот маленький чуваш, новый ученик школы,—был Константин Иванов, сын богатого крестьянина из селения Слакбаш.

Несомненно, двухэтажный, многооконный корпус школы на берегу медлительной Свияги показался ему огромным после низеньких изб родного Слакбаша. Симбирск, весь в вишневых и яблоневых садах, уже поблекших,—Симбирск с его вычурными дворянскими особняками, гулкими мощеными улицами, широкозадыми извозчиками, чиновничьими мундирами, подавил мальчика своим „величием“. Но в высоких коридорах училища свободно звучала родная речь и, значит, здесь никто не мог дразнить Константина „слепым“, и т. д. как это было прошлой зимой в русском Белебеевском училище.

Начались занятия. Константин сидел на задней парте, тихий, внимательный, слегка грустный. В первые же дни он наполнил свою парту книгами, взятыми из школьной библиотеки. Скоро ученики привыкли к тому, что Константин не выходит из класса во время перемен и, широко расставив локти и зажав уши, жадно читает страницу за страницей. Он ухитрился читать во время скучных уроков. Однажды священник Лебяжьев, седой и строгий старик, чертя на доске план иудейского храма, неожиданно обернулся и взглянул на заднюю парту. Иванов сидел, склонившись над книгой,—это были стихи Кольцова.

— Мальчик в черной рубашке!—прогремел окрик священника.—Ты что там делаешь?

Иванов встал, смущенно сунул томик в парту. Лебяжьев, шурша рясой, уже шел к нему. В последнюю минуту сосед Константина успел подсунуть ему раскрытый учебник закона божия. — А-а, следишь по учебнику,—удовлетворенно сказал Лебяжьев.

Школа жила своей обычной, размеренной, строго-замкнутой жизнью: молитвы, уроки, обед, непременно хождение в церковь, собственные церковные хоры, обильное преподавание закона божия. Ученики совсем не выпускались в город, в биб-

<sup>1</sup> Выступление на конференции ССП Чувашии, 20 октября 1940 г.

лиотеки, в театры, в школе были запрещены кружки и собрания. Преподавание велось на родном языке только в двух младших классах—во имя того, чтобы ученики были наиболее организовано подготовлены к восприятию остальной программы на русском и только на русском языке. Это была известная система казанского мракобеса Ильминского, направленная к наиболее глубокой, верной, органической руссификации и христианизации молодых поколений языческих—в недалеком прошлом—„инородцев“ <Чиновники из Казанского учебного округа и высокопоставленные миссионеры стремились воспитать из молодых чуваш верноподданных, раболепных слуг его величества русского царя, покорных Ив́анов, не помнящих родства со своим народом.> Более всего чиновники и „просветители“ боялись, как бы в чувашскую школу не проникли „сепаратистские“ настроения: с великим страхом и с решительностью подавлялись даже самые робкие мысли о просвещении чувашского народа, о его праве на жизнь. Угроза закрытия часто нависала над этой единственной в России чувашской школой, что каждый раз доставляло большие хлопоты ее организатору и руководителю Ивану Яковлевичу Яковлеву.

Ученик подготовительного класса Иванов, конечно, ничего не знал о судьбах своей школы. Он узнал и понял это гораздо позднее. Пока же маленький Константин легко и жадно учился, читал Пушкина, Гейне, Гете, Байрона, пьянея от вечной музыки стиха. Вокруг него шумели веселые голоса его товарищей: здесь были девочки, мальчишки, парни, в пестрых платьях, в самотканном рядне,—иные в онучах, в лаптях. Константин внимательно и задумчиво прислушивался к родному певучему говору. Сколько здесь было разных наречий—ведь молодые чуваша съезжались сюда со всей необъятной России!—сколько метких слов, какие сказки и старинки, какие песни рассказывались и пелись ненасытными осенними вечерами! Перед мальчиком как бы вставал пленительный образ его народа,—темного, замученного, униженного,—и он с удивлением убеждался, что, вопреки всему, народ этот умеет смеяться в своих сказках и петь песни, полные мужественной надежды и поэзии.

Перед первыми каникулами классу было задано сочинение на тему: „Зимняя ночь в деревне“. Учитель Идобаев, придя на следующий урок, раскрыл верхнюю тетрадку и отчетливо с волнением прочел описание деревенской ночи, выполненное точными, скупыми и выпуклыми фразами.

— Хорошо написал, Иванов,—радостно сказал учитель,—поставил тебе пятерку.

Константин стоял за своей партией и нерешительно улыбался: на щеках его, порозовевших от смущения, обозначились ямочки. Это было первое сочинение в его жизни.

<Скоро среди учеников младшего отделения прошел слух, что Константин написал стихотворение об умершей своей родст-

веннице—такое жалостное, что слушая его, непременно заплачешь. Озорная одноклассница Иванова—Марфа Грубина, ныне чувашская писательница,—встретив Константина на лестнице, попросила показать ей стихотворение.

— Нет, не покажу,—коротко ответил он.

— Почему?

Иванов улыбнулся, упрямо качнул головой:

— Так,— и легкими шагами побежал вниз.

Девочка решила стащить стихи. Она забежала в пустой класс и залезла в парту Константина. Нетерпеливо перелистывала она учебники, черновые тетради,—стихов нигде не было. Ей подвернулся альбом из плотной бумаги, и она обрадованно сунула его за пазуху.

Забившись в укромный уголок, девочка развернула альбом: с первого листа на нее глянули большие, удивительно знакомые глаза кудрявого толстогубого мальчика. Это был Пушкин! Девочка невольно провела пальцами по портрету, думая, что Константин наклеил его. Нет, это был рисунок, сделанный уверенной рукой. Значит, Константин умеет еще и рисовать?

Девочка с восхищением перелистывала страницу за страницей. Здесь были портреты Кольцова, Некрасова, Гоголя, Лермонтова. Легкими бережными штрихами был набросан прекрасный торс Венеры Милосской...

Константин успешно закончил два подготовительных класса и перешел в первый класс учительской школы. Наступил тысяча девятьсот шестой год. Революционная буря докатилась до сонного Симбирска и до глухих стен чувашской школы. Учащиеся попрежнему не выходили на улицы города, но подростские первоклассники все чаще сбивались возбужденными группами. Из рук в руки потайно передавались нивесть откуда появившиеся здесь тонкие нелегальные брошюры. В феврале тысяча девятьсот седьмого года в первом классе вспыхнула забастовка: ученики требовали решительных изменений в порядках школы, расширения учебных программ, права на собрания, на выход в город, в театры, в библиотеки, удаления нелюбимых преподавателей. В школьном саду возник шумный митинг, раздались впервые в этих стенах за сорокалетнее существование школы,—призывные звуки „Варшавянки“. Над корпусом школы ненадолго взвился красный флаг.

Константин оказался в самом центре событий. Он весь как бы загорелся, был переполнен радостной энергией. Он выступал на собраниях, его меткие эпиграммы на учителей и злые карикатуры ходили по рукам.

Дирекция не приняла петиции учеников и прекратила занятия с классом. Вскоре было объявлено решение, жестоко продиктованное Казанским учебным округом. Все ученики первого класса в числе сорока человек объявлялись бунтовщиками и исключались из школы без права поступления в какое бы то ни было учебное заведение.

В неурочное время пришлось возвращаться Константину в

Слакбаш. Отец встретил его хмуро: грамотный богатый крестьянин, он учил своего сына, чтобы поддержать честь богатого рода, чтобы вырастить достойного наследника. Константин не оправдал его надежд...

Юный „бунтовщик“ действительно по-новому, словно впервые, увидел родное селение: курные избы, согнутые нуждой плечи нищих селян, голодных ребятишек, молчаливых женщин, чьи глаза, съеденные дымом и трахомой, смотрели на него с горестным равнодушием. И вокруг всего этого—безбрежные, безрадостные просторы степи...

Константин всю весну и лето молчаливо работал в хозяйстве, пахал, косил, столярничал. Однако, сколько бы ни старался отец заводить разговоры о приумножении хозяйства, об аренде новых земель,—сын сразу гневно вспыхивал, спорил или уходил прочь.

Самой обидной, невыносимой мыслью для Константина была мысль о том, что ему запрещено учиться дальше. Осенью он все же решил попытать счастья в учительской семинарии при Благовещенском заводе. Его допустили к экзаменам, но он получил двойку по закону божию и, подавленный неудачей, уехал домой.

Он старался казаться бодрым, пропадал вечерами на гульбищах слакбашской молодежи, жадно слушал песни и вдруг, отвернувшись, украдкой записывал слова, строки, целые песни, вызывая немалое удивление у неграмотных деревенских друзей. Часто он уходил пешком в глухое чувашское село Кайраклы, где было особенно много сказочников, хранителей легенд и песен.

Однако, тоска все сильнее охватывала Константина. В порыве отчаяния он написал большое письмо И. Я. Яковлеву. Старик ответил кратко: „приезжай!“

⟨И вот в сумрачный день поздней осени, в школьном саду, усыпанном опавшими листьями, снова появился Константин Иванов. Теперь это был уже юноша, невысокий, немного болезненный, но с прямым и как бы разящим взглядом больших темных глаз.⟩

Старик встретил его с суровой снисходительностью и сразу же заговорил о том, что Константину придется переводить на чувашский язык учебники для младших классов школы.

Константин принялся за дело с молодым азартом и усердием. Любовно рисовал он иллюстрации для букваря. Переводил Л. Толстого, Аксакова, Лермонтова, впервые отныне зазвучавших на чувашском языке.

Переводя эти произведения, он слово за словом, все более глубоко открывал их для себя. Высокая их поэзия окрыляла его, звала, заражала...

Он закрывал глаза, и его тотчас же окружали родные лица, он слышал нежные девичьи песни. С удивительной отчетливостью перед ними вставало спокойное морщинистое лицо слакбашского сказочника деда Максима. Но заманчивее и сладостнее всего мечталось ему о темноглазой чувашской девушке.

Она не то приснилась ему, не то он видел ее когда-то, не то она жила до него и видел ее, может быть, только дед Константина. Или—она еще не родилась, и ее увидит сын или внук Константина?

Но поэт знал: она стройна, у нее легкая походка, сопровождаемая звоном монисто, она лукаво улыбается, едва открывая белые зубы. Он назвал девушку „Нарспи“ и подумал, что лучше всего поселить ее в селении, именуемом „Сильби“.

Душистей из года в год,  
Цветок золотой в степи,  
Цветком золотым цветет  
В Сильби красота Нарспи.  
...Смотрите: Нарспи идет.  
Лебяжьей походке в лад,  
Шагов отмечая счет  
Монисты на ней звенят ... <sup>1)</sup>

Из чувашского народа, обездоленного историей, Константин избрал вдвойне угнетенное существо—женщину—и отдал ей всю силу своего молодого поэтического таланта.

Он позволил Нарспи провести беззаботное детство и девичество в богатом доме отца,—чтобы затем наделить ее безрадостной участью жены-рабыни, проданной родителями старому, жестокому богачу Тохтаману.

Нарспи любит красивого парня Сетнэра, богатство которого состоит только из пары крепких рук да горячего коня-ургамака. Узнав о сватовстве Тохтамана, Сетнэр с горечью восклицает:

Ужели, Нарспи моя,  
От этих ручьев и рек,  
Тебя в чужие края  
Чужой увезет человек?  
Мне нечего счастья ждать.  
Судьба моя горька:  
Твой гордый отец и мать  
Сторонятся бедняка...

Напрасно влюбленные мечутся в поисках выхода: его нет. С последовательной, страстной ненавистью Константин описывает тупую жестокость родителей. Ослепленные богатством, они собственными руками разрушают счастье своей дочери.

В Сильби шумит богатая свадьба.

Из-под пера Константина неудержимо льются свадебные песни—он столько слышал их в детстве!—любовно описывает он обряды девического прощания, благословления невесты, пляски, игру пузыристов. Недаром он любил ходить в Кайраклы: в глухом селении этом, отдаленном от городов и железных дорог,

<sup>1)</sup> Отрывки из поэмы „Нарспи“ даются в переводе А. Жарова.

старинные чувашские обычаи сохранились во всей их наивной целостности...

Одна Нарспи, под брачным покрывалом, тихо плачет о потерянной любви. О том же поют ее подружки:

Седой Тохтаман тебя  
Настиг, как буран в степи.  
Седой Тохтаман тебя  
От нас увезет, Нарспи,  
Горячим огнем, Сетнэр,  
Любовь свою растопи!  
Что будет с тобой, Сетнэр,  
Где счастье твое, Нарспи?

Старую, несчастную мать Сетнэра Константин ведет к полуслепому гадалщику и—на страницы поэмы приходит дед Максим, мудрец из селения Слакбаш. С тонкой и теплой иронией Константин рисует сцену гадания. Старик предсказывает Сетнэру недолгий век и, оставшись один, лукаво смекает, что на этот раз, кажется, он нечаянно сболтнул правду.

Но вот, свадебный поезд, увозящий Нарспи, уже скрылся в пыли. Начались серые будни. Тохтаман не простил Нарспи ее любви к Сетнэру: тяжелая плеть мужа—„хозяина“ загуляла по спине молодой женщины. Константин с ревностью и страданием наблюдает жизнь Нарспи в селении Хужелги, в чужом богатом доме.

Бей, бей, Тохтаман, лупи,—

— с угрозой обращается он к Тохтаману,—

— Тяжелую плеть хватай,—  
Молодку свою, Нарспи,  
Собакою почитай,  
Что сеять пошел весной,

То осенью соберешь.  
... Бей вечером, ночью бей!  
Да только смотри, потом  
Об этом не пожалей!

В чистой и сильной душе Нарспи растет глухой протест. Она не хочет жить с нелюбимым, когда есть на свете милый Сетнэр. Ей не нужна богатая усадьба, земли и кони ненавистного Тохтамана. „Счастье не в богатстве, а в любви, в человеке!“— смело подает она голос из тьмы суеверий, рабства и непреложных дедовских законов. И она поднимается из этой тьмы веков—пока одна, единственная,— но во имя счастья всех чувашских девушек и женщин, которые скоро прочтут, плача, о ее судьбе и будут десятилетиями петь о ней песни.

Нарспи отравила злого Тохтамана, и в ужасе—но не в отчаянии—убежала в лес. Ночное небо разрывалось от грозových раскатов, могучие дубы бесновались над головой Нарспи. Хлынул очистительный ливень. Нарспи запела во весь голос,—она шла навстречу любви, освобождению, новой жизни.

... где мой горький цвет?  
Где радость—любовь моя?—

откликается ей Сетнэр.

Он бродит в том же лесу: любовь ведет его навстречу Нарспи. Не веря себе, он сквозь бурю слышит ее голос: песня любви сводит их вместе и соединяет навсегда. Нарспи вошла как жена в бедную избу Сетнэра. Осыпанная ругательствами и проклятиями родителей, она мужественно защищает перед ними свое право на счастье.

Губительна к деньгам страсть,  
Вы, голову очертя,  
Нацелили волку в пасть  
Единственное дитя.  
Я вырвалась. Вы опять  
Отдать в кабалу не прочь.  
Нет!..

Высказаны горячие слова обиды, умолкла ссора. Старики, бравясь, ушли от дочери, очевидно, навсегда.

Константин глубоко задумался над судьбой своей Нарспи. Может ли она быть счастлива? Можно ли завершить поэму апофеозом молодой благородной любви?

Ничто из жизни, окружавшей семнадцатилетнего Константина, не внушало ему светлых иллюзий: его родной народ пахал жалкие клочки земли деревянными сохами, в курных избах свирепствовала нужда, грязь, трахома. Школа, единственная, в которой он мог учиться и которая отвергла его как бунтовщика, жила в удушливых тисках миссионерства и полицейского произвола.

Нет, Константин не мог наделить свою Нарспи счастливой долей. Глухую ночью он вводит в Сильби неизвестных злодеев. Они грабят богатый дом Михедэра, убивают стариков и заодно с ними, Сетнэра, который, из благородных побуждений, бросился было защищать стариков.

Без слез, немая от горя, стоит над трупами Нарспи. Нет родного дома, нет Сетнэра—нет жизни. Так думает она, медленно уходя вон из Сильби. На утро селение потрясено еще одной страшной новостью: Нарспи повесилась в Коноплянном логе. Бережно и любовно похоронил ее народ на высоком холме, помня о ее погибшей любви, о ее смелости и доброте.

Печальная песнь о ней  
В чувашском селе слышна.  
И нынче в сердца людей  
Вселяет любовь она.  
Приходит народ простой,  
В жару в Конопляный дол,  
И там ключевой водой  
Сухой поливает холм...

... И вот—закончена песнь о Нарспи. Она лежит, известная пока только ее юному автору—на его столе, рядом с переводами учебников и евангелия, в его бедной подвальной комнатке,

которую окружает немая, равнодушная тишина провинциального города.

Константин уже знает, что в архиве школы лежат еще две рукописных поэмы неизвестных чувашских поэтов, учившихся до него в этих стенах. Он знает также, что третий поэт—Тайр Тимки, который перевел на чувашский язык „Интернационал“ и „Варшавянку“ и призывал в своих стихах к революционной борьбе, шагает теперь по далеким сибирским этапам...

Как передать народу песнь о Нарспи? Как добиться права на печатное чувашское слово? До сего дня на чувашском языке выходили только томики евангелия да учебники; для малышей.

И. Я. Яковлев и здесь оказывает помощь своему непокорному питомцу: после больших хлопот школа выпускает на миссионерские средства книгу „Сказки и предания чуваш“. В книге—сказки Константина Иванова, записанные и переработанные им, и его поэма „Нарспи“ в 14 песнях. Однако, на книжке нет имени автора. Высшее школьное начальство не допустило и мысли о том, чтобы чувашский „полудиккий“ народ мог иметь своего поэта. Да и кроме того, одно имя Иванова, как бунтовщика, могло бы навсегда погубить самую идею издания книги. Умудренный горьким опытом, И. Я. Яковлев догадался заранее стереть его имя с обложки книги.

Со смешанным чувством радости и глубокой обиды Константин держал в руках первую книгу чувашских произведений: они принадлежали ему, но там не было его имени!

Первая тысяча экземпляров „Нарспи“, розданная ученикам Симбирской школы, двинулась в глубь России, в глухие неграмотные чувашские деревни. Долгими зимними вечерами ученики читали ее вслух в душевных избах, наполненных молчаливыми селянами. И строки этих песен легко укладывались в памяти, просились на голос. Прошел год, два, пять лет—и „Нарспи“ стала любимой песней народа: ее рассказывали и пели полуслепые старики, никогда не слышавшие о Константине, ее звонкими голосами читали дети, она в замусленных списках лежала, бережно охраняемая, на божницах, она путешествовала из избы в избу, проникала в самые далекие села, не знаящие не только о Константине, но даже и о существовании Симбирской школы.

Чувашский народ, которому по воле царских чиновников была брошена, как подачка, безымянная книга, бережно подхватил ее и полюбил, как свое кровное, действительно им созданное, бесценное дитя. Народ, заблуждаясь, стал считать себя творцом „Нарспи“.

Поэт не знал и не мог знать о судьбе своей поэмы. Он сидел в одинокой комнате, трудолюбиво согнувшись над рабочим столом. Он успел подготовиться и блестяще сдать экзамены на звание народного учителя в той классической гимназии, где когда-то учился Владимир Ульянов. Мечта о свободном печатном слове часто одолевала его в бессонные ночи. И однажды, работая в



столярной мастерской школы, он в свободные часы соорудил деревянную пишущую машинку...

Получив звание учителя, Константин разослал в разные места десятки прошений и с юношеской пылкостью принялся мечтать о том, как он будет работать народным учителем. Но тщетны были эти мечты. Начальство предпочло промолчать: ведь это был Константин Иванов—бунтовщик!

Константин правильно понял красноречивое молчание начальства. Покорно склонил голову, он вернулся в свою рабочую комнату. Ему разрешено было преподавать только в опытных классах чувашской школы, да еще лежал перед ним обязательный, гнетущий его душу перевод библии. Только теперь он почувствовал, как он устал, как подорвано его здоровье.

Весной тысяча девятьсот четырнадцатого года, измученный и больной, он уезжает в Слакбаш. „Кумыс меня поднимет“— говорит он родным, и глаза его, глаза чахоточного больного, горячо блестят...

В конце марта он скончался, не прожив и четверти века, не успев сказать и малой доли того, что предназначено ему было сказать его большим поэтическим талантом. Поэта хоронило все село, от мала до велика. Селяне горько плакали на его могиле. Это были друзья его детства, его юности и почти единственные свидетели создания „Нарспи“.

Только в наши дни была, наконец, разрушена стена молчания между поэтом и его народом: с удивлением и радостью чувашский народ узнал, что любимая его песня „Нарспи“ создана талантливым и юным его сыном—Константином Ивановым.

Ныне сказание о Нарспи уже свободно свершает свое победное шествие в самую гущу освобожденного чувашского народа. Его поют в колхозных хороводах, его читают на самодельных вечерах в тысячах чувашских школ.

От Константина Иванова зачалась и молодая советская чувашская литература. До сего дня поэты Чувашии питаются из богатого источника его поэзии. Они, чувашские поэты, не только любят большой и страстно человеческой любовью своего столь рано умершего, замечательного товарища Константина, но и по праву считают его основоположником языка чувашской поэзии.

Так поэт, умерев в безвестности, ныне возвратился к своему свободному народу.